

Глеб Успенский

# Будка

Глеб Успенский

# Будка

## Очерк

### 1

На углу двух весьма глухих и бедных переулков уездного города стояла будка; физиономия ее походила на те беседки с колоннами и куполом, которые встречаются на лубочных изображениях иностранных вилл, причем обыкновенно впереди виллы, в воде, плавают два лебедя друг против друга, сзади видны деревья, а по дорожкам прогуливаются господа в шляпах набекрень, в черных фраках, дети с обручами и дамы с зонтиками на плече; походила она также на те храмы муз, которые обыкновенно изображают на занавесях провинциальных театров; такому сходству весьма способствовала старинная архитектура будки; она действительно была с колоннами и куполом, а каменные ободранные стены ее были круглы; но некоторые, по-видимому, весьма ничтожные вещи, как, например, измазанная дверь с клоками истерзанной рогожи и войлока, приземистая черная труба, мешаншая вершину купола, и в особенности жестяная алебарда, видневшаяся всегда у колонн, весьма красноречиво доказывали наблюдателю, что видимое им здание не есть храм муз, но есть кутузка или сибирка; тем более что громадные калоши будочника Мырщцова, набитые для тепла соломой и постоянно торчавшие перед будкой на улице, ни в каком случае не могли напоминать лебедей, плавающих перед иностранною виллою.

На тоненьких почерневших колонках будки всегда трепетали по ветру какие-то писаные и печатные лоскутки, на которых значилось, что такого-то числа военные и гражданские чиновники приглашаются пожаловать в парадной форме... Что того же числа в мешанской упрвие будет происходить торг и переторжка на имущество мешанки Степаниды, состоящее из уюга и кровати, оцененных в тридцать копеек... Что в зале дворянского собрания имеет быть бал, почему благоволят надеть белые жилеты те, кон и т. д. Но страна, где стояла будка, не имела ни парадной формы, ни тридцати копеек, чтобы овладеть облыстительным имуществом Степаниды, ни, наконец, белых жилетов; и поэтому-то пропаганда будочника Мырщцова по исчисленным вопросам была совершенно ничтожна; закутавшись в казенную шубу, он, правда, постоянно торчал около той или другой колонки и, по-видимому, сторожил эти писаные и печатные лоскутки, но в сущности смысл и содержание их были ему известны ровно столько же, сколько и жестяной алебарде, которая тоже торчала рядом с Мырщцовым, только у другой колонки... Оба они пропагандировали нечто другое и, следовательно, недаром мерзли на ветру...

Будочник Мырщцов принадлежал к числу "неспособных", то есть людей, совершенно негодных в войске. Эти неспособные большею частью происходят или из обделенных природою белорусов, или из русачков северных бесхлебных и холодных губерний. Мачеха-природа и лебеда пололам с древесной корой, питающей их, загода, со дня рождения, обрекает их быть илотами и богом убитыми людьми; они наделяет их непостижимою умственною неповоротливое тию и все почти задавленные стремления человеческой природы сводит на жажду водки, которую они поглощают в громадных размерах; они умеют напиваться молча, не произнося ни единого слова; молча дерутся в кровь и, валяясь где-нибудь в глухом и безлюдном переулке, почти в беспамятстве умеют бормотать только одно: "виноват", ни на минуту не выпуская из скудного и запуганного воображения образ грозного начальства.

Начальство вообще панически действует на них; при виде его несчастные "неспособные" вытягиваются в струнку, замирают и задыхаются в воротнике, станутом туго-натуго; виски, намазанные для праздника свиным салом, начинают потеть, в глаза получают способность пускать слезы. Кроме мачехи-природы, последнее признаки человеческого существа из них выколачивает военная муштровка; в древние времена результаты ее отдавались у неспособных на скулах, под скулами, на спине и далее. "Муштровка" комкала их, переламывала в нескольких направлениях, как какую-нибудь палку или доску, и, оставив в живых только косицы, намазанные свиным салом, сдавала в провинции на разные должности: в "хожалые", пожарные и проч. Воины эти, вступая на

новый пост, непременно имели разные увечья и вывихи разорванную в дровке губу, выломанное ребро, ухабы и ямы в голове и спине; соединив эти приобретения с тем наследием природы, о котором уже упомянуто, они представлялись субъектами самого странного шивота; никто никогда не мог адольтить им в голову чего-нибудь, не относящегося до их пожарной специальности, и, в свою очередь, тоже и от них нельзя было добиться чего-нибудь. Самый краткий разговор с таким существом всегда оканчивался тем, что начавший разговаривать прерывал речь, с ожесточением восклицая: - Да что ты? Ты оглох, что ли?..

Но субъект не оглох, он просто был "неспособный".

Будочник Мымрецов обладал всеми упомянутыми увечьями в полном объеме; все эти вывихи, переломы имелись у него даже в сверхкомплектном количестве, делая из него угрюмую, неповоротливую фигуру, весьма походившую на корень дерева, глубоко сидевший в земле и вывернутый оттуда силою бури, видно было, что тут происходило и упорство, с одной стороны, и сокрушительная сила, с другой, корень вывернут из земли, изувеченный и бездушный.

Несмотря на то, изувеченность и умственное оскудение были главною причиною того блистательного успеха, с которым Мымрецов занимал предназначенный ему пост, можно даже сказать наверное, что успех этот мог увеличиваться и возрастать по мере того, как течение времени и драк будет выхватывать у него новые ребра и делать новые ямы в голове. Только при таких условиях раскрывшийся умственный капитал его, не развлекаясь никакими посторонними интересами, мог сосредоточиться и даже впитаться в главные его обязанности; обязанности эти состояли в том, чтобы, во-первых, "тащить", а во-вторых, "не пушать"; ташил он обыкновенно туда, куда решительно не желалі попать, а не пушал туда, куда этого смертельно желалі. Словом, где только человек находился в положении, определяемом фразою "ни назад, ни вперед", там наверное Мымрецов принимал живейшее участие; говорят, что с течением времени Мымрецов до того влезал в это таскание, что в людях начал замечать только шивороты и этим отличал людей от бессловесных животных и неодушевленных предметов; поэтому-то Мымрецов и жестяная алебарда были представителями шиворотной пропаганды и, следовательно, недаром мерзли на ветру.

Забота о шиворотах поглотила все его существо, так что в ней, как в бездонной пропасти, почти бесследно исчезала последовательная нить его философии и свойства его как семьянина; о семейных отношениях его и супруге можно сказать, что он и жена жили в тах, как живут кошка с собакой, потому что несходные качества этих животных совмещались в одной супруге, и Мымрецову оставалась роль бесчувственного пня, на который могут брехать собаки и царапать лапами кошки, не надеясь получить в ответ ничего, кроме мертвого равнодушия и поплевываний в угол, и то вследствие приятного ощущения, доставляемого махоркой. Гробовое молчание и угрюмость решительно не давали возможности разглядеть в подробности все личные особенности Мымрецова; несокровенным было то, что он очень любил тютюн, услаждавший его в минуты отдыха, и что три денежки в сутки да ковриги казенного хлеба с нумервами на верхней корке, написанными мелом, поддерживали его изувеченное существование на славу множества шиворотов, и только; мрак угрюмости и молчания непроглядною пеленою покрывал тайну происхождения его других желаний и убеждений. Твк, нам уже известно, что он умел, в качестве pilota, наливаться молча; по праздничным дням он угрюмо шатался из двора во двор и везде лил в себя водку, не зная решительно границ этому литью и не подозревая, что желудок его не бездонная пропасть. Целые недели после этого он мучился грудью, поясницей, головой, но на следующий праздник история повторялась в том же порядке.

Такою же таинственностью покрыта его страсть копить серебряные пятакки. Почему он с лихорадочною жадностью завертывает тихомолком каждый пятак в тысячу тряпок?

зачем так далеко прячет их в шерстяной чулок и засовывает потом под крыльцо? Неужели он думает нажить богатства и сокровища? Неужели об этих сокровищах он так усердно молит бога, оставшись вечерком один, не спускает с крошечного образочка своих глаз, падает на колени и тах крепко, крепко бьет себя кулаком в грудь?..

Мымрецов объясняет эти молитвы и собирание пяточков тем, что скоро он пойдет в свою сторону: он дожидается только времени, когда перестанут у него ныть кости, руки и ноги...

Он ждет, пока у него отойдет хрипота в груди, мешающая ему свободно дышать, и тогда он непременно уйдет к своим...

## II

Вообще таинственные свойства души Мымрецова совершенно необъяснимы, и мы, не имея права умозаключать о них, прямо переходим к его деятельности.

Деятельность эта, то есть таскание и хватание за шивороты, не прекращалась у Мымрецова ни на одну минуту: утром он обыкновенно отпраивался в часть и рапортовал начальству о своих успехах, излагая речь сообразно с своею изуверченностью и искалеченностью.

- Ну, - спрашивал его кварталный, перелистывая какие-то бумаги, - ты что же это там с бабами-то воюешь?

- Помилуйте, вашскобродие, я только что отпихнул ее от себя.

- Кого?

- Эту самую даму... Смоленскую..!

- Какую Смоленскую?

- Да которая, например, шельма самая... Гордеиха приказывает ее узять, а она говорит: "Я, говорит, с этой дрянью не пойду". Она, вашскобродие, меня дрянью назвала...

- Ну?

- Ну, я ее отпихнул... говорю: "Ты мне не нужна!" А разодравши они были прежде... Я подбег, они уж разодравши были...

и уж глаз расшибли... в том числе...

- В каком числе?

- В числе драки-с.

- Черт тебя знает, что ты городишь! Посади!

- Помилуйте!

- Ступай!

Обыкновенно дела шли таким образом, что Мымрецов не успевал возвратиться домой, как где-нибудь на пути к будке ему наворачивалась практика, но иногда прямо из части он приходил в будку, расстегивал шинель и, сладостно поплезывая, курил тютюн. В эти минуты он не слышал, как жена его, орудовавшая у печи, костила его по какому-то случаю и замахивалась на него ухватом; утром он и безмолвно наслаждался он махоркой; но когда махорка выгорала в трубке и Мымрецову предстояла необходимость ограничиться созерцанием возносимых над его головой ухватов, ему вдруг делалось скучно и тоскливо; выйдя на крыльцо, он тревожно поглядывал в одну и в другую сторону, ища пожны, снова возвращался в будку и начинал чувствовать, что у него болят руки, ноги, ноют кости... Ему непременно нужно было куда-нибудь торопиться, ловить что-нибудь или кого-нибудь. Судьба обыкновенно недолго держала его в таком томительном состоянии.

Вот отворилась дверь, в будку понесло холодом, и вслед за тем появилась фигура женщины в истертой синей шубейке, с лицом, облитым слезами и покрытым темными, словно чернильными, пятнами. Слез и пятен достаточно Мымрецову, чтобы увидеть под ними шиворот. Он начинает торопливо застегивать шинель и говорит:

- Где? - намекая тем на местопребывание шиворота.

Ему не нужно знать, почему и что? он давно убедился, что в этих слезах и синяках ничего не разберет сам черт.

- Ох, да недалечко, родной, - говорит старуха. - Туточко вот... к полю... Уж и наказал господь... О-ох!

- Потому, нам нельзя допускать дебошу, - торопливо говорит Мымрецов, надевая шапку. - Где тесак?

- Сократи ты его! Сделай твою милость...

- Палка где? Потому, мы не допущем, коли ежели шум, например... Ням этого нельзя...

Палка найдена, и Мырцов исчезает, куда призывает его долг, а будочница от нечего делать занимается исследованием причины синяков и слез; она знает все, что ни делается в округности.

- Сынок аи нет? - спрашивает она старуху.

- Ох, нет, родная, не сын! Нету сыновьев-то! зять!

- Зя-ять?.. А то вот тоже у соседей поножовщина идет - ну, там сыновья!..

- Зять, зять, родная!.. Кровную детичу отдава - загубила. И ровно враг меня обошел, как отдавала-то я!.. За вдовца отдавала-то! конокрад, родная!.. Которые родные в то время случились, "что ты, говорят, делаешь? Что ты в гроб-то ее заживо кладешь?.." Дочку-то... Нет! Отдала... Прельщение от него уж очень большое было! "Век, говорит, кормить буду..."

до смерти..." Искусилась, да вот и воюю... Только что, господи блягослови, повенчали их, аи гляжу - уж он ее...

При этом старуха сделала руками такой жест, как будто бы хотела представить, как полощут белье...

- После этого-то он недолго ее помучил - в солдаты ушел, охотюю... В те поры мы с дочкой-то всё бога молили, чтоб ему голову бы снесли прочь... Всё, бывало, черкесов да кизильбашей этих поминали в молитвах - не утаю, родимая! Остались мы с дочкой да ребенок - троечкою; дочка-то пошла по портомойней чвсти, а я так, на старости, с ребенком... Сама знаешь, касатка, портомойную-то часть. Теперь возьми зимнее время - бесперечь на речке, у проруби, руки и ноги стынут, да опять целый божий день согнуашись - легко ли дело! Уж она, бывало, придет домой, в чем душ... в чем только душенька!..

А там, глядишь, в ногу вступило, там в груди не пушает...

Трудно, трудно было! Ну, всё жили... Пять годов этак-то мы мучились, и в теперешнее время бога бы благодарить надо:

ходим не отрепаные, дите, внушек мой, тоже не без призору; чай пьем каждый божий день, а по праздникам иной раз и внакладку, бывает, разоряемся. Помаленечку! Только было выскреблись, а господь и прогневался... Кровопийца-то наш, Пилат-то, пришел зедь! Эдакая образина! царица небесная...

Глянула я на него, как он ночью-то к нам ввалился, - так меня ровно бы тряс какой схватил... Трясусь вся! И дочка-то тоже в трясение вошла... Трясемся мы, что сделешь-то! Стада это я его потчевать (сама знаешь, голубка, "не для зятя-собаки, для милого дитяти..."), а сама так вот и взлетаваю... Хочу-хочу чашку ему подать, а руки-то кверху, а сама-то я в сторону...

Порхаем с дочкою, ровно перепелки... И слова-то выговорить не могу: тра-ла-ла - только всего; хоть возьми вот топор да отсеки язык - все то ж самое! А Пилат-то наш заприметил это.

"Что это, говорит, родственники мон, не вижу я в разговорах ваших настоящего порядку?... Чем вам этак-то друг друга с ног сшибать, лучше же ты, теща, предоставь нам штоф вина..."

Я было ему: "На что вам, Максим Петрович, эдакую прорву вина? (вежливо стараюсь...) Вы, говорю, неравно с этакой пропасти начнете над нами мудрить..." - "Намерение, говорит, мое такое, чтобы штоф..." Пошла я, горюшко мое, принесль... Пьет он вино-то и дочку мою потчует. Никогда вина в рот не бравши, очень ее растомило... "Сем, говорит, Максим Петрович, я прилягу, растомило меня..." Ляг она, да и засни.

Как он, сударушка моя, увидал ее тихий, приятный сон, тую ж минутою хватъ ее - и давай... "Ты, говорит, меня не любишь... Муж пришел, пять лет не видалсь, в онь только приткнулась к постели и закрापела..." Я бросилась разнимать, говорю: "Что вы, что вы, Максим Петрович! вы этак посуду перебьете... (вежливо с ним стараюсь...) тут, говорю, на десять целковых добра" - а он-то ее...

Старуха опять повторила жест полоскания белья и замолкла, всхлипывая.

- Наутро, родимушка, ушел он в деревню, к своим... Через неделю приходит. Поцеловались они честь честью; думала я - нв добро этот поцалуй, аи вот что вышло... Сел

он на кровать и говорит: "Я, говорит, супруга моя, беру вас в деревню..."

с собой жить, чтобы по мужицкому положению". - "Нет, - говорит дочь моя, - невозможно этого сделать, потому - у меня свое хозяйство... Каков, говорит, есть на сем свете грош, - и того я от вас, Максим Петрович, не выдала, кровными трудами копила, мне этого не бросать". - "А ежели, говорит, я посконного масла набил на пять целковых и картофелю запасил это как? Могу я бросить или нет?" - "Воля ваша! отвечаем: у нас посуда... теперь, ежели ее продать, что за нее дадут? Окромя того, мы отроду не едали вашего свиного кушанья... Будьте так добры!" - "Ну, а ежели, например, я набил посконного масла?" - "Воля ваша... У нас тоже утюги, тарелки..." - "Не бросать же мне!" - говорит. "И нам тоже не бросать!.." Тут мы и стали; он говорит: "У меня то, другое: - масло, веревки..." А мы говорим: "И у нас тоже, батюшка, вилки, ложки..." Он опять, значит: "Картошки, дрова, сбрау..." А мы своим чередом: "Утюги, мыло, доски..." "Не бросать же мне?" - "Да и нам тоже не из чего бросать!.." - "Ну, а ежели, говорит, я возьму да по-своейски поступлю, например?" - "Воля ваша! - у нас посуда!.." - "А ежели я возьму да не помрволю?" - "Не бросать же нам..." Тут, милая моя, он поднялся и сделал с нами, с женщинами, шум... Ах, и очень большой шум сделал!..

В это время на улице раздался крик и плач; рассказчица выбежала на крыльцо будки и увидела следующее: посреди дороги шел Мырцеов и увлекал за собою прачку, дочь рассказчицы; Понтийский Пилаг, то есть солдат, шел сзади жены и, подталкивая, говорил:

- Нет, ты свинова кушанья не едала - отдавай! Отпробуй его, матушка!..

- Дитю-то! дитю-то у него отымите! - вопияла прачка.

- За что ж дочку-то? дочку мою за что? - не понимая, как все это случилось, кричала рассказчица...

- Разговаривать! - отвечал на все вопросы и просьбы Мырцеов, зацепивший прачку потому, что она первая подвернулась ему под руки; он, должно быть, знал, что у каждого из них своя посуда, и, следовательно, кого ни схватить из них - все одно и то же.

### III

Совершив этот подвиг, Мырцеов направился было в будку, чтобы озаботиться насчет тюпону, но едва он отворил туда дверь, как тотчас же получил новый адрес шиворота и торопливо отправился за ним; будочница выслушивала уже новую историю; рассказывала ей какая-то весьма полная дама; под ковровым платком, покрывавшим ее плечи, казался, поклоился какой-то битком набитый чемодан; но в сущности чемодана там не было никакого, а была массивная грудь дамы; волосы ее были причесаны именно так, как чешется дворничиха Дарья, желаяющая быть дамою и Дарьёю Андреевною; прядь волос с середины лба загибалась к затылку, где торчала коса величайшей с пуговичку; по бокам этой пряди волосы падали на виски и уши, наподобие каких-то блинов или ушей легавой собаки; в такой рамке заключалась конусообразная физиономия с маленьким носом и окороками вместо щек. Дама эта имела собственное "заведение" и хозяйство, и так как деятельность ее совершалась преимущественно в области драк и буйств, то она была коротко знакома с будочницей и иногда делала ей сюрпризы. На этот раз дама принесла кусок сахара и шепотку чаю, завернутые в бумагу. Обрадованная вниманием дамы, будочница из всех сил суетилась около самовара, который изрыгал клубы дыма, и в то же время слушала историю, которую не спеша рассказывала дама.

Дало в том, что дама была очень оскорблена отсутствием в людях совести; одна из девишек, которыми держится хозяйство дамы, несмотря на ее благодеяния вроде чая выкладку, никак не хотела опенить всей глубокой доброжелательности своей опекуни; она не слушала ни одного ее совета; еслк, например, дама доказывала, что, "чем сидеть сложа руки или удизнуть куда-нибудь на извозчике, - лучше отправиться с салазками на речку и перестирать собственное белье", - то неблагодарная словно и не слышала этих слов и более старалась удрать хоть в ближний кабак, только б не "спокойно" сидеть среди хозяйства дамы. Непокорность и дебош этой женщины достигли наконец того, что она совершенно исчезла от дамы и вот уже почти две недели скрывается в жилище горького пьяницы,

портного Данилки.

Во время этих рассказов обе дамы не переставали ни на минуту наливать себя кипятком, обливались ручьями пота, обтирали мокрые и толстые шен какими-то тряпками и говорили:

- Ну и где же, позвольте вас спросить, - говорила дама, - где же теперича у людей эта совесть?

- Степанида Петровна! - с глубоким сочувствием отвечивала будочница, захлебнувшаяся даренным чаем! - красавица ты моя! Ну где же, например, скажите мне на милость, это совесть у людей, я все думаю?..

А между тем именно во имя этой исчезнувшей совести действовала та неблагодарная женщина, которая покинула благотворительную даму и приютилась у портного Данилки.

Это было две недели тому назад.

В одну темную ночь Данилка, "урезавший" сверхъестественную муху, шатался по пустынным и сонным улицам с какой-то крайне убогой женщиной под ручку и вместе с нею оглашал спящий город самыми удалыми песнями. В песнях главным образом преобладал элемент самого скорого отъезда из здешней грустной жизни - куль-то... "Мы нвйдем себе курьерских, развалчайных лошадей", - пели гуляки темною ночью и шатались по темным улицам.

Наутро Данилка открыл глаза, увидел свою убогую каморку и еще более убогую подругу. Узнал он также, что вместо головы у него на плечах лудовая гиря и что опохмелиться нет никакой возможности. Все это заставило его с грубостью отнестись к приятельнице.

- Это почему такое здесь? Ко дворам бы пора...

- Чутьочку только погрееусь, Данил Горденч. Уйду-с...

- То-то, поспешать бы...

- Уйду, уйду-с! Растоплю печку и побегу...

- Ну, и более ничего, с богом... только всего...

Два полена, выглядывавшие из печки и покрытые снегом, скоро затрещали, в конуре Данилки запахло дымом, пробивавшимся сквозь дырявую печь. Подруга сидела на полу и грелась, ежась плечами.

- Сию минуту уйду-с... - шептала она. - Не побеспокою... Озябла, признаться, бегала...

Вам, Данил Горденч, опохмелиться бы хорошо теперича...

Данила Горденч, убежденный, что опохмелиться нечем, сурово смотрел на подругу.

- Это мое дело... Боле ничего!

- Право-с... Я, признаться, сбегала... Не угодно ли?... Это вам для просвежения...

Оборванная женщина подсела к нему и поднесла стакан вина.

- Это ты где же денги-то взяла? - не изменяя суровости, сказал Данило. - Ты, гляди, по карманам где не нашарила ли?

- Я, признаться, точно что... ну, нету у вас по карманам ничего... Да вы не бойтесь. Я чужого отроду не бирала... Вот щеколду у вас в жилетке нашла, вот она... Извольте. Это вы не беспокойтесь. Кушайте.

- То-то... Вы мастера по чужим карманам нашаривать...

- Нет, нет!.. Где уж нам, голубчик, на чужое лыститься...

На свои, признаться, двенадцать копеек сбегала... Кушайте...

Оно освежает...

- Вы это мастера облущить кавалеря, - сказал Данило Горденч и выпил. Выпил он, почувствовал просвежение и продолжал молча смотреть на подругу.

- Все-то разворовано, раскрадено, - говорила она шепотом, прибирая какие-то гвозди и палки, - ишь натекло с окошка-то!.. Аль это у вас некому стелу-то заткнуть, ишь несет оттуда, ровно из погребца...

Так шептала она, изредка прибавляя: "сейчас, сейчас, батюшка, уйду", и Данило Горденч почувствовал, что в этом прибиривье, в этой зботе о просвежении нету никакого желанья нашарить в карманах и обокреть... Думал, думал он, молчал, соображал, но в



голове его ничего путного не происходило: не являлось ничего такого, что было ему очень нужно теперь, что ему именно теперь хотелось узнать... Но зато в груди его что-то поднималось и бурвило...

- Ну, покорнейше вас благодарю, обогрелась... теперь...

При этих словах грудь портного с боков сдвинуло что-то.

- Ты! - крикнул он весьма громко.

- Что, голубчик?..

- Оставайся!

Женщина изумленно посмотрела на него.

- Не ходить?

- Совсем оставайся... Не пущу!.. Боле ничего!

Данило Гордеич повернулся было спиной к своей ухидившей подруге, но тотчас же вскочил и заговорил:

- Да что там? вот разговаривать!.. Беги-ко за водкой!..

полштоф!

- Не прогонишь? - чуть не рыдая, говорила женщина. - Голубчик!

- Я говорю, беги!.. Х-хе... Да я их, чертей!.. Ну-кося, вот эту штуку захвати в кабаке-то оставить.

- Чужая ведь Данил Гордеич - заквзня!

- Расшевеливайся! Заказная! Я их! погоди!.. Да сем-ко я с тобой!.. Что там!

С этих пор настало новое пьянство, пропивалась заказная работа, пелись песни, постоянно слышались слова: "черт их возьми!", "погоди!", "я их!"

Пьянство это дышало какою-то надеждою и не носило того тягостного оттенка, с которым Данилка пьянствовал до сего времени. Новые чувства, расшевелившиеся в нем, выражались как-то странно. Иной раз он вдруг задумает что-нибудь открыть своей подруге, попытается что-то сообщить и скажет: "Чуешь аи нет, что я говорю?" Потом схватит ее за руку, сожмет ее крепко-накрепко, скажет: "так аль нет?", хлопнет со всего размаха своей ладонью по ладони приятельницы, словно барышник на конной, потом опять начнет ломать ее пальцы в своей руке и заорет:

- Пон-ни-маешь аи нет?

- Понимаю, Данил Гордеич, понимаю-с!

- Ну, и боле ничего! Так я говорю?

- Так, так...

- Ну, и шабаш!.. Только всего!

Проливание чужого добра шло довольно долго. Подруга Данилки, зная, что остановить этого пропивания невозможно, заботилась только о том, чтобы друг ее не разбил себе головы: остальное "наживется".

К концу двух недель после первой встречи настала в конуре Данилки тишина и труд...

- Что за шум! - заговорил Мырещов, появляясь в одну из таких необыкновенно тихих минут. - По какому случаю дебош?

Мырещову не могло даже представиться, чтобы не было буйства там, где появлялся он.

- Потому, мы не допускаем, чтобы, например, дебош! - продолжал он, хватая Данилку.

- Кузьмич, друг! - завопил портной, - что ты?

- Не бунтуй, бунту не заводи! И теперича женский пол, ежели...

- Женюсь, женюсь, брат! в закон беру, аль ты очумел? за что ж в часть-то? в закон! хоть сейчас под венеп.

Мырещов выпустил шиворот Данилки и остался среди конуры в большом недоумении.

- Что ты? - продолжал Данилка укоризненно. - А я было в намерении моем на брак мой тебя хотел потребовать, но ежели ты меня в поволочку...

Долго Данилка укорял Кузьмича в несправедливости его желаний и развивал планы насчет будущего супружеского счастья с Аленой Андреевной, которой он задумал передать

на руки свое добро и хозяйство нажитое. Речи его были до того сильны, что Мырцев не осмелился снова посягнуть на свободу Данилки, а только прибавил:

- А все, Данил о, надо бы тебе по делам-то в части высидеть... Потому, дебош очень большой ты затеял. Очень большой шум!

#### IV

Надо сказать правду, что случаи, подобные вышеприведенному, когда шиворот, полавший уже в руки Мырцева, неожиданно исчезал из них, бывали с нашим героем довольно часты.

В такие минуты он решительно не мог ничего сообразить и предавался глубокому унынию.

- У нас этого нельзя, - бормотал он, возвращаясь домой, например, от Данилки: - мы не дозволяем этого, чтобы вырываться... Так-то.

Течение времени, конечно, успокаивало его, но бывали моменты до того потрясающие, что потом нужно было много удачных тасканий, чтобы привести Мырцева в нормальное состояние.

Вот, например, однажды темным зимним вечером в будку просукулась голова сыщика.

- Живо! Собирайся! - крикнул он Мырцеву и снова захлопнул дверь, чтобы созвать еще двух подчасков; сыщик торопился по случаю одного важного дела, в котором принимали участие многие уездные сановники: вечером того же дня у почтовой гостиницы сзади одного дормеза был отрезан каким-то воров чемодан. Надо было разыскать вора.

Мырцев скоро был готов и вышел из будки, чуя поживу; на улице его ожидали сыщик, сидевший в санях, и два солдата.

- Куда ж нам натрафить? - спросил сыщик.

- Теперь, вашескобродие, надо бы нам в ночлежные доми утрафлять, сказал солдат.

- Да застанем ли кого? Прохоров! есть там кто, как ты думаешь?

- Надо быть, вашескобродие, - отвечал Прохоров. - Потому к полночи там этих мошенников самая густота собирается...

- Главная причина - на след-то попасть...

- Так точно, вашескобродие! - присовокупил Прохоров.

Воинство двинулось в путь; ночь была ветреная; оголенные деревья стучали сучьями, между которыми свистал ветер. Ночлежный дом, куда пошли сыщик и солдаты, представлял ужасное зрелище. Это был длинный старый дом, в котором когда-то жили господа бояре или богатые купцы; теперь этот дом сгнил, обвалился; вместо ворот стояли одни притолоки; осевшая посредине крыша выверла полукругом всю стену, смотревшую на улицу; ставни днем и ночью были заколочены, и сквозь щели в них виднелись гнилые решетки рам без стекол или стекла, напоминавшие торговую баню; внутренность этого жилища была не менее ужасна: повсюду в полу виднелись глубокие ямы; в разных местах подпорки подпирали нависшие кинзу потолки, ободранные стены были голы и украшались только гирляндами пауки, торчавшей между бревен. Черный ночник, накопивший на стене длинную черную полосу, загибавшуюся на потолок, колебался от ветра, дувшего отовсюду, и едва-едва освещал массу храпевших и охавших людей; все они лежали вповалку на полу, тут виднелись солдатские шинели и деревянные ноги вместо настоящих; мелькали узлы богомолок, перевязанные покроями; виднелись мешки плотников, тряпье, лохмотья.

Появление будочников произвело некоторое волнение; все закопошилось и двойное заохало. Несколько солдатских шинелей исчезло, укатилось в соседние, еще более холодные и темные комнаты. Среди ночлежников если не все, то большинство были люди вовсе не подозрительные; так называемых "Пешковых" не пускают по ночам на постоянные дворы, и этим безвыходным положением пользуются ловкие люди: они нанимают за бесценок какую-нибудь развалину и загоняют туда одиноких скитальцев, собирая с них деньги за ночлег. Несмотря на это будочники бесцеремонно относились ко всякому из этой оборванной и одинокой толпы.

- Разговаривай! - кричал Прохоров, самый опытный в сыских делах. - Это что за узел?

- Сухарики, отец, сухарики, батюшко... хоть всеё обыщи...
- Сухарики! Ну-ко, ну... куда суешь-то?
- Куда мне совать! Господи батюшко!
- Говорю, подай! Это откуда платок? Э-э, брат! Да ты кто такая?..
- Странница, отец родной, скитаюсь.
- Покажи-ка анд... Э-ге-е! Возьми ее... зй!
- Голубчики!..
- Покрепче приструни!.. Слышишь! Это что?
- Соль, соль, отец родной!
- Повернись... Ну-ко, встань, поворачивайся!.. Ты кто такой? Вид есть?
- Плотник, рабочий.
- Вид покажи!..
- Ды он у меня, вид-то...
- Эй! Привяжи его к богомолке... там разберем!

Все население ночлежного дома встало с своих мест, закопошилось, перетряхивало тряпки, ляхмотья, охало... Повсюду слышались слова: "Хоть всеё обыщи... господи...", и тут же раздавалось: "Эй, ты! Ну-ко, повернись... Отставно-ой? Нет, погоди!" и т. д.

- Что зарылся-то? у меня, брат, прижукнуться мудрено! - произнес Прохоров, останавливаясь около одного спавшего человека. Это был дряхлый старик, почти раздетый и седой как лунь; из-под дырявого кафтанишка, которым накрылся он, виднелись две маленькие шершавые детские головки.

- Господи помилуй!.. - зашептал старик, поднимаясь.  
 - Чешись! - перебил Прохоров, - разговаривай!.. Вид покажи...  
 - Есть, есть... Пашпорт есть, - кротко и торопливо шептал старик, ощупывая свое логово. - Есть.

- Это чьи дети? Покажи-ко узел...  
 - Внучки, внучки... батюшка. Погорелые! Было все, стало - нету ничего! Дочернины детки-то!

- Узел чей?  
 - Чужой узелок... чужой! Нету узлов... Ни узлов, ни-н...  
 ничего нету!.. Побираемся... где узлам быть, постелиться нечем!.. Нету...

- Пашпорт!  
 - Есть, есть!.. Это есть!.. уж где разутым, раздетым...  
 - Он пьяница! - раздалось вдруг из толпы ночлежников. - Вы ему, ваше благородие, не верьте... Ему добрые люди помогают, и то он не имеет своих правил...

- Помогают, батюшко, помогают!.. - так же кротко отвечал на это старик. - Слепыми полushками помощь оказывают...

- А тебе мало? - слышалось в толпе. - Твоего внучка-то ивмедни барин одел, а ты снял с него одежду-то... где она?

Пролил!  
 - Проел я одежду, кормилец, - не пролил! Дай бог баряну - точно наградил... И франтовитим одеянием даже наградил... Ну, проел я его! Да!.. Нету ничего...

- Нет, вы бы его, ваше благородие, а частный дом... Потому, смущение от него большое... Вы бы его, вашбродие, сцапали бы.

- Нельзя, голубчик, нельзя!.. - кротко продолжал старик, глядя в землю... - Невозможно этого... Не за что сцапать-то!

И шивороты-то у меня настоящего нету... Не уймешь.

- Вы ему, зашескобродие, не верьте! - прибавил голос из толпы. - От него и на нас мараль идет...

Но нельзя было не верить старику: у него действительно не было порядочного шиворота... Мымрецов, высвободивший руку из правого рукава, чтобы соколом налететь на пьяницу, при последних словах старика совсем остолбенел и потерял сознание. Таким образом, благодаря отсутствию шиворота старик остался нетронутым в своем логове, с

своими дочерними детками, с холодом, голодом и правом на побиршество.

Да, бывали, бывали подобные происшествия с Мымрецовым.

Почему это он не торопится и не суетится, как обыкновенно, а не спеша, вяло, нехотя идет на призыв? Это верный знак, что нет места его теории в предлагаемом деле.

Вот его пригласили на пивоваренный завод, где один рабочий, испуганный рекрутчиной, бросился в котел с кипятком и обжегся. Мымрецов молча и угрюмо смотрит на охающего и расплущего мужика и ясно видит, что некуда его тащить. Желая успокоиться, он дает оборот своим мыслям: "нельзя ли его по крайней мере не пушать?" Но и это оказывается невозможным. Чтобы окончательно не скомпрометировать себя перед толпой народа, Мымрецов наконец решает объявить свое суждение:

- Ну, что ж зевать-то?.. По какому случаю шум?.. Уж ежели ты, к примеру, влетел в котел, следственно, ты здорово, например, обжегся... Будем так говорить... Чего ж зевать-то?..

Затем он ушел, а умирающий продолжал лежать и охать...

Бывали такие случаи.

А в доказательство того, что судьба вознаграждала Мымрецова за эти страдания, вернемся к сыщику.

- Теперь нам надо, вашескобродие, поспешить, - говорил ему Прохоров, выбравшись из ночлежного дома. - Попусту много промешкали... Надеть нам поторапливаться, а то вор-то, поди-ко, где уж шелкает...

Но вор, впрочем, недалеко ушел от них. Он притаился в лачужке в конце города, в овраге; здесь жила его жена с ребенком и какой-то старый солдат-калека. Чемодан был давно распакован, в нем оказалось роскошное детское белье и разные туалетные вещи.

Мало было поживы вору от этого добра. Роскошь его слишком приметна для того, чтобы не навести в этой бедной стороне на вопрос: "где ты взял этакое?" Тем не менее похититель кочем воспользовался и успел спустить. При разборке чемодана старый солдат получил в подарок ножик из слоновой кости и коробку пудры с золотыми украшениями. Когда сыщик с солдатами подобрался к лачуге, внутренность ее была ярко освещена; на полу, около развороченного чемодана, спал, закрывшись, человек - это был вор. Солдат сидел на лавке и повертывал в руках то ножик, то коробку, ухмылялся и бормотал:

- И духовитая, провалиться ей!!.. Пойду в свою сторону - снесу... Надумают же!.. Эва, ножик-от, тупой... Ни то им резать, ни то шут его разберет... Песок не песок, а поди, чинись укупить!..

Старик нюхал коробку, качал головой и ухмылялся.

Прямо против окна стояла женщина, высокая и красивая, на руках ее был мальчик не больше году от рождения; на нем была надета одна из роскошнейших краденых рубашечек, не закрывавшая, впрочем, ни грязных рук, ни ног, ни чумазого детского личика.

Мать подбрасывала его к потолку, тормошила и, слегка шекоча ему грудь, говорила:

- Ну, чем не графский барчонок? Ну, чем ты только не красавчик, чем не ангелочек?

- Отворяй! - зардевав кулаком в окно, гаркнул Прохоров.

В лачужке замечались; солдат начал торопливо прятать пудру в сапог; спавший человек вскочил, бросился в дверь; но его встретил Мымрецов.

- Вот он - ты! - сказал будочник.

- Вот он, вот он!.. - бессознательно бормотал вор, остановившись.

Скоро Мымрецов был удовлетворен.

## V

Теперь необходимо обратить внимание на самую брдку, так как деятельность Мымрецова, несмотря на довольно большое однообразие, в сущности решительно неисчерпаема; всякий шиворот непременно совмещает в себе целую драму, в пересчитать эти драмы - нет физической возможности. Поэтому-то мы и обратимся к нравам самой будки.

Кроме Мымрецова, его жены и случайных посетителей, иногда проводивших здесь

тягостную ночь, в будке были еще постоянные жильцы; это были бедняки, не имевшие места, где бы приклонить голову. Если у них было что перекусить и выпить, они делились этим с будочничьей супругой и старались не запруживать будку своими нищими телами; в минуту безденежья и бесплечья они прямо шли в будку и говорили будочнице:

- Авдотья! Мы к тебе...

- И когда только это провал ввс возьмет! - гневно отзывалась будочница, но не гнала их, во-первых, потому, что добрые сердца бывают и в хранинах и в хижинах, а во-вторых, потому, что от жильцов частехонько перепадали на ее долю довольно вкусные и жирные куски пирогов. Жильцы ее принадлежали к артистическому классу "мастеровщины" и составляли заходлустный оркестр. Состав и свойства этого оркестра довольно новы; чтобы познакомиться со всем этим покороче, мы должны зайти в будку в один из дней зимнего мясоеда.

В печке трещат дрова, в теплом и гнилом воздухе висит полоса дыма и слышится довольно плотный букет махорки; будочница орудует ухватом; Мырцев занял отдыхом и молча поплываает в угол. В это время в будку входит старичок мешанин; сначала он крестится, потом кланяется хозяевам и, стягнув с рукава и воротника снег, говорит будочнице:

- Что, любезная, здесь Иван, музыкант, проживает?

- Это который на скрипке?

- Этот.

- Здесь... Да шут их знает, шатуны этикие... их, поди, с собаками не сыщешь...

При этом будочница подняла ухват вверх и постучала им в потолок...

- Сейчас! - глухо отозвались с потолка.

- А вы они у вас под крышей зимуют? - спросил мешанин.

- А то где же? Тут, чай, сви видишь, негде повернуться двоим... А иной раз пьяниц наволокут; хоть возьми завяжи глаза да беги вон.

- Так, так, - подтвердил мешанин.

- А что ж, думаешь, под крышей? - продолжала будочница. - Там им, погляди-кось, какое тепло-то!.. Труба горячая, что твоя лежанка...

- Так, так! Место духовитое... Труба дает теплый дух...

- Там им за первый долг валиться-то!..

- Это справедливо! место хорошее... место милостивое!..

Мешанин сел на лавку, погладил свои седые волосы и огляделся.

- Мешкают они что-то, - сказал мешанин, помолчав.

- Товарищей скликают... Что вы свадьбу, что ль, затеваете? - спросила будочница.

- Да что будешь делать, матушка!

- Кто такие?

- Кушаковы, мешане... здешние жители. Вот внучку просватал за кондитера Ваньку...

- Это хромой-то?

- Хром, матушка, точно, что хром!.. Ну, доктора обещались оттянуть эту хромоту-то...

Беспременно, говорят, оттянем в другое место... И примочку дали, дай бог здоровья... Примечивайте, говорят, через два часа по столовой ложке...

- Ну, дай бог!

- Уж мы и сами бога молим... К спине бы ее, хромоту-то...

- В спину? - спросил Мырцев, неожиданно услышав слово, так близко подходящее к шивороту.

- К спине, к спине, друг! Потому, надо так сказать: которая это нога кондитерова, то она более двадцати годов изувечена; ну, мы имеем упование на господу...

- Пьет-то он доже! - с соболезнованием проговорила будочница. - А уж и девочка ваша!

- Давочка, одно слово! Рукоделью обучена...

- Первая по здешним местам девушкв! Уж и мастеров!.. ах!

- Ну, да ведь где, матушка, непьяного-то возьмешь? Кто не пьяница-то по нынешнему

времени?

Мешанин вздохнул.

- И тяжка же наша женская часть! - заговорила будочница, смотря в печку. - Живет девушка невинная, чувствует про себя всякую любовь, а вместо того: - хватя! да за пьяницу!.. На увечья да на каторгу!..

- Родная! - грустно сказал мешанин. - Нету не пьянито, нету их! У кондитера, у Ваньки, по крайности сейчас пятьдесят целковых есть! Да платье, погляди-кось, какое невесте подарил! Только что в двух местах маленько тронута, а то все чистое, можно сказать - муре! Так-то-ся!.. Санта-дубовое обещался - случай есть... Вот и гляди на него! каков он кондитер-то...

При этих словах будочница замолкла. Мырцев, слушая эти разговоры, начал как-то таинственно покрхтывать, пошевеливаться, и будка неожиданно услышала следующую речь:

- Ну, тоже, - не спеша начал Мырцев: - и мужская часть через женскую часть не то чтобы очень благополучно хлеб своей ела...

Тут он остановился, тряхнул головой книзу, завернул лицо в сторону и продолжал:

- Тоже и нашему брату само собой по башке от дамского пола влетает...

С этими словами он вдруг направился к двери.

- Да как вас не бить-то? Как вяс, кровопийцев наших, не бить? загорячилась будочница.

- Да, брат! влетает препорядочно-хорошо! - заключил Мырцев - и скрылся на улицу.

В это время в будку вошел человек лет тридцати, с доброй, но как будто заспанной, отекшей физиономией. Он был в сером армяке с широким квадратным воротником, лежавшим на спине, на шее виднелся ситцевый платок, туго завязанный крошечным узлом. Армяк был подпоясан кушаком; походил он на дьячка. Человек этот был застенчив и робок; добрые глаза мигали часто, словно стыдились чего. За ним вошло еще двое.

- Доброго здоровья! - сказал армяк мешанину мягким и заискивающим голосом.

- Здравствуй, друг! Ты Иван-то?

- Мы-с... Музыка требуется?

- Да, брат. Вот свадьбу затеяли...

- Дело доброе!.. Дай бог час!.. Конечно... Вам один инструмент требуется?

- Да хоть и поболее - все одно. Что уж...

- Да на что вам поболее-то-с? Конечно, что звуку более - ну настоящего увеселения не будет-с... Поверьте, так! Нам это дело вот как известно... Тепериче, например, труба или опять генерал-бас - через них только рев поднимается на балу, ну к танцу он не графит; танец требует аккурату, чтобы нога действовала в существе, но не то, что ежели мы забарабаним очертя голову! В то время может произойти невеста что...

- Это так! - подтвердил мешанин.

- Поверьте, так! Мы на своем веку поработали довольно...

Мы знаем-с. Нет лучше, как скрипка: тихо, чудесно... А за ценой мы не постоним...

- А за ценой мы не погонимся! - прибавили два другие лица.

Костюмы этих лиц не отличались доброкачеством.

Один из них, худенький и сухой человек лет сорока, был в чуйке, старался быть гордым и держать себя в порядке. Другой был в сюртуке, воротник которого терялся в хаки-то тряпках, намотанных на шею. Сюртук был засален и застегнут на верхнюю и нижнюю пуговицы; боковой карман отдувался. Человек в сюртуке имел широкое рябое лицо, выражавшее равнодушие и весьма покойное состояние духа; лицо это очень походило на тарелку с кашей, густо намазанной маслом.

- Что же, - спросил мешанин, - и эти молодцы по музыкальному мастерству?

- Н-нет-с! - умильно отвечал армяк. - Нет-с, они этому не учены...

- Мы не учены...

- Мы только что вместе ходим-с! - продолжал армяк. - У нас, значит, общее, собственно по бедности. Так как, оставши без куска хлеба, - куда я денусь? которые были по оркестру товарищи, еще при барине, - тоже разбрелись... Струменту не было... с рукой тоже не

хотелось, а кормиться надобно... Ну вот попался добрый человек, Петр Филатич, двй бог им здоровья, инструмент свой доверяют...

- Это точно, что справедливо он говорит! - подавшись вперед, произнес человек в сюртуке. - Потому эту скрипку мне один помещик подарил, как, значит, из послушников монастырских выбыл я...

- Каким же манером в монастырь-то угодил?

- Да, собственно, таким манером, что ружье у одного приятеля моего было... - спокойно объяснял сюртук. - Раз он, приятель-то, баловался-баловался этим ружьем - "эй, говорит, берегись, застрелю!" Шутил. Я думаю, ты шути-шути, а тоже пулею какую двнешь, не оченно чтобы превосходно будет.

Взял да и заслонился рукой. А он как брякнет! Да два пальца мне и отшиб... Извольте посмотреть! Ну, судить. Что, что такое? Ну, выгнали нас, исключили. В училище духовном был я в ту пору... Входил я с прошением, так и доступа мне не было...

Начальник случился робкий, увидал эту руку-то, например, в крови, "увидите его, говорит, он меня убьет!" Так я и пошел за разбойника... Безрукий человек, куда ему? Думал, думал и вступил в обитель.

- Да, да, да!.. Ну, а из монастыря-то отбыл?..

- А из монастыря я по искушению отбыл... Мысли разные смущали.

- Беси! - шепнул армяк и кашлянул.

- Ну их!.. Что ж, - неохотно произнес рассказчик. - Гласы были: "Что ты, говорит, измождаешься?.. Лучше же ты утрафь отсюда... Птицы небесные, и те, например..." Ну, я и того... Искусился, да и ушел. Через соблаз. А оттуда, бог дал, к помещику одному мелкопоместному, детей учить: читать, писать... Только помещик-то этот оченно прил. Придерживался.

Капиталу настоящего не было: душ всего шесть да собака борзая, в детей куча, да и вино это самое... Я в то время кичего это не одобрял, да и посеячас не лют; так, балуюсь. Ну, а тогда в компании-то с хозяином и начал... Помаленьку да помаленьку...

Бывало, жена-то воет-воет, а мы - зний свое... В полночь рыбу затеем ловить или в галок из окошка стрелять, это у нас во всякое время коротко и ясно. Сколько раз тонули, чуть детей не перестреляли, - все сходило; а тут вдруг и случись беда...

Напились мы с ним, с помещиком-то, однава, да и поехали вместе. Дорогой начнись у нас спор, слово за слово, я рассерчал да как цапну барина-то по голове!

- За что?

- Да это мне и тепериче неизвестно... Цапнул я его, а он и покатысь, покатылся да и помер... Ну, дело затеялось, меня в тюрьму... После этого, как, значит, я себя на отделку замарал, - нету мне пропитания: никто не берет, боится: "он, говорят, убьет!" Некуда мне деться; взялся за скрипку, думаю: обучусь...

Жена помещикова еще скрипку-то не отдавала: "Ты, говорит, мужа убил... Нам самим есть нечего... Нам самим скрипка нужна..." Не отдает! Ну, кое-как я ее отбил, да вот и пускаю в прокат... Скрипка хорошая...

- Скрипка хорошая! - подтвердил серый армяк, - только что щелочка...

- Ну что там щелочка? - возразил сюртук. - Авось я знаю... Кажется, свонии руками ее заклеил.

- С этими щелчками да скрипками, - прибавила будочница, - вы у меня, черти этикие, целое полотнище из юбки выдрали!.. Ох, музыканты!

- Щелочки той и помину нет, что ты! - продолжал сюртук.

- Да что ж я? - робко зашептал армяк... - Али я чтонибудь?

- Это, брат, скрипка итальянская!

- Я говорю, скрипка превосходная, что вы! Петр Филатич?.. Так вот-с, обратился армяк к мешанину: - скрипка ихняя, а струны Ивви Ларивонич от себя держат.

- Моя часть - струна! - сказал сухой и сердитый человек... - Мы, милостивый государь, струну держим дорогую, но не какую-нибудь собачью дрянь, позаольте вам заметить... Потому, нам нельзя как-нибудь!.. Ежели я только что и дышу струною, так уж я должен,

чтобы она в полном звуке была...

Так или нет-с? Положим, что я теперь во временной нужде; потому мне надо господина Приготовова дожидаться, я у него сейчас буду тышу рублей получать... Я его на руках своих вынанид, он не забудет старика, потому это против бога... А что с этими пьяницами мне долго не возиться, - это я вам верно говорю...

Старик с гордостью и даже ожесточением произносил свою речь, презрительно поглядывая на своих товарищей.

- С этими пьяницами не нажить мне долго... Я этого не люблю... Я знаю порядок... Я этим не нуждаюсь...

Гордость и презрение, слышавшиеся в этих словах, почти обидели мещанина, тоже с гордостью приготавливавшегося устроить трагическую свадьбу с музыкой... Среди раздраженной речи поставщика струн мещанин поднялся и сказал:

- Ну так как же?

- Да как прикажете! - снова заговорил армяк. - Сейчас - сейчас готовы; завтра - завтра. Как угодно.

- Ну там скажемся. Ладно. Только чтобы уж аккуртно было... Свадьба хорошая...

- Само собой!.. Так мы трое, значит, и прибудем-с... Я для музыки, собственно для искусства, ну, а они так... Пирожка там, чего-нибудь...

- Мы для процитания! - прибавил сюртук.

Мещанин сторговался и ушел.

## VI

Спусти несколько времени происходила свадьба.

В запотелые стекла любопытные зрители могли видеть внутренность лачуги, битком набитой гостями. Среди всеобщего молчания суетились какие-то женщины, поднося водку и поминутно раскладываясь, в отдалении слышались звуки настраиваемой скрипки и мелкала фигура ее владельца с пирогом в руке и звешкой. Видно было также, как полупьяный кондитер, сидя на диване, притягивал к себе молодую жену, старавшуюся уйти от него; упругий стан ее неохотно покорялся его ласковым объятиям, и грустное лицо чуть не плакало, но все-таки улыбалось. Невеста наконец вышла в другую комнату и залилась слезами; несколько пожилых женщин принялись ее утешать.

- Что ты? что ты, родимая? Ты подумай, какой человек...

Одно - кондитер...

- Большой... и нога... увечный!.. И ухо болит!..

- Ухо? Ах ты, касатка моя! Да ты пройди весь свет - такого уха не найдешь!..

- Нет, нет...

- Ну, а ежели и болит, эка беда какая!.. Уж и заболеть нельзя! Скажите на милость!.. Ты бы и не думала об этом. А уж ежели не нравится, возьми да отвернись...

- Отвернись, а он изобьет!

- Ни-ни-ни! Ни боже мой!.. Не такой человек! Простовпросто попроси у него позволения, тихо, благородно: "Позвольте, мол, Иван Капитоныч, с краю мне... Уж знаю, мол, что это непорядок! ну, что будешь делать приучена!.. И сама, мол, не рада, ну не могу!.." Ни-ни-ни!.. Слова не скажет! что ты?

Ведь ишь ты что... Ах ты! голубка моя! уж и смех же с вами, с девушками...

В это время серый армяк с отчаянною быстротою заиграл какую-то пьесу. Скрипка и струны были не особо звучны: они напоминали не звучное и не стройное, но визгливое и раздражающее душу причитанье старухи.

Общество расшевелилось и зашумело.

- Эй, бабы-ы! - кричал подгулявший кондитер. - Жену чтоб сюда!.. Супругу!.. Это почему такое?

Прислушиваясь к свадебному бушеванью, Мымрецов стоял на крыльце будки, рядом с алейбардой, и, должно быть, ей поверял свои одинокие разговоры.

- По какому случаю шум? - бормотал он. - Мы не долушаем, ежели, например...



Но мы уже знаем, что "не допущает" Мырцеюа, и не будем потому досказывать историю свадьбы, которая и женихом, и невестой, и драматическими солистами оркестра, кажется, судит ему большую практику в самом скором будущем.